

Institute of History
of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences

УДК 94(47+57)"1917/1922"
ББК 63.3(2)6; 63.3(0)61
Г 75

Сборник утвержден к печати
Ученым советом Института истории СО РАН
Ответственный редактор – д-р ист. наук В.М. Рынков
Ответственный секретарь – канд. ист. наук В.В. Журавлев

Рецензенты

д-р ист. наук А.А. Николаев (Институт истории СО РАН)
д-р ист. наук П.П. Вибе (Омский государственный
историко-краеведческий музей)

Г 75 **Гражданская война в России:** проблемы выхода, исторические последствия, уроки для современности: сборник научных трудов / отв. ред. В.М. Рынков, отв. секр. В.В. Журавлев; Институт истории СО РАН. – Новосибирск: Параллель, 2022. – 406 с.

ISBN 978-5-98901-255-8

Сборник включает статьи, посвященные различным аспектам истории Гражданской войны в России, проблемам историографии, теории и методологии. Авторы сосредоточили свое внимание на наиболее дискуссионных вопросах, связанных с изучением завершающего этапа Гражданской войны и ее окончанием в различных регионах. Статьи являются расширенными версиями докладов, представленных на одноименную международную научную конференцию, посвященную 100-летию окончания Гражданской войны (Новосибирск, 5–7 сентября 2022 г.) исследователями из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Структура сборника отражает основные направления работы конференции. Книга адресована историкам, политологам, а также всем интересующимся историей.

УДК 94(47+57)"1917/1922"
ББК 63.3(2)6; 63.3(0)61

The Civil War in Russia: Exit Problems, Historical Consequences, Lessons for Modernity

Collection of Scientific Papers

УДК 94(47).084.3

doi:10.31518/978-5-98901-255-8-172-183

О.А. Сухова

Сельский мир на исходе Гражданской войны: экстремальная повседнежность и практики адаптации (по материалам Среднего Поволжья)*

О.А. Sukhova

The Rural World at the End of the Civil War: Extreme Everyday Life and Adaptation Practices (Based on Materials from the Middle Volga Region)

Аннотация. В статье рассматриваются адаптационные ресурсы и практики, средства коммуникации сельского сообщества в условиях деградации и распада привычных структур повседневности периода Гражданской войны в России. Методологической основой доклада избраны синергетический подход, история и семиотика повседневности. Обоснован вывод об экстремализации всего социокультурного пространства российской деревни в период 1918–1922 гг., что многократно усиливало социальное напряжение и становилось дополнительным фактором роста масштабов и интенсивности сопротивления. Определяющим фактором социальной динамики выступило крайнее обострение продовольственной ситуации, вызванное крахом хлебного рынка и натурализацией экономики, нерегламентированным насилием по «выгребке» хлеба и другой продукции у крестьян, неблагоприятными погодными условиями 1919 г. и особенно 1920–1921 гг. На этом фоне происходит блокировка и последующая деструкция политической и региональной идентичностей, что выливается в разрыв осей территориальной консолидации и рост повстанческого движения, окрашенного в цвета антибольшевистских настроений.

Ключевые слова: Гражданская война в России, Среднее Поволжье, Пензенская губерния, крестьянство, экстремальная повседневность, социальное сопротивление, политическая идентичность.

Первые явные свидетельства разработки новых объяснительных моделей в истории Гражданской войны в России связаны с освоением интеллектуального багажа западной историографии и резким дистан-

цированием от канонов марксистской методологии в 1990-е гг., особенно в условиях мемориализации 90-летия революции 1917 г. В числе зарубежных исследователей, оказавших заметное влияние на зарождение новой традиции, отметим Т. Шанина, Ш. Фицпатрик, О. Файджеса [Shanin, 1972; Fitzpatrick, 1989; Figes, 1989]. Исключительным вызовом для отечественной историографической традиции стала публикация монографии В.П. Булдакова, манифестировавшей приоритет социально-психологического фактора в познании прошлого [Булдаков, 1997].

Но подлинный антропологический поворот в деле осмысления истории гражданского противостояния пришелся на начало 2000-х гг. и стал одним из горизонтов выхода отечественной историографии из состояния затяжного методологического кризиса. Это проявилось в формировании определенного запроса на изучение повседнежности населения России в годы Гражданской войны [Семенов, 2005 и др.].

Явлением знаковым для отечественной историографии порядка следует назвать публикацию монографии О.М. Морозовой, предложившей новый взгляд на исторические свидетельства времен Гражданской войны с позиций влияния культурных и психосоциальных процессов, в том числе через практики визуализации символов и ритуального раскола и новых властных отношений, вербальных и ритуальных способов маркировки насилия [Морозова, 2012].

Вместе с тем современные исследователи по-прежнему признают «принципиальную открытость» культурного измерения Гражданской войны в России, подчеркивая необходимость развития нового исследовательского инструментария [Купцова, Филиппова, 2018. С. 585].

Одним из актуальных направлений исследований исторической практики является изучение мышления и поведения человека в экстремальных условиях. Так, В.Б. Аксенов, рассматривая специфику эволюции массовых настроений периода Гражданской войны в России, в качестве основных процессов отмечает инверсию «высокого» и «низкого» типов культур, а также всеохватность распространения эсхатологических переживаний [Аксенов, 2018. С. 542–543].

Региональный уровень изучения проблемы, отражая новации последних десятилетий и прирастающая исследованиями в сфере изучения повседнежности, социальной психологии и памяти, раскрывает еще один значимый аспект – рассмотрение гражданского противостояния

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (Russian Science Foundation) № 22-18-20015 Ссылка на информацию о проекте: <https://rscf.ru/en/project/22-18-20015/>.

как вызова региональной политической и гражданской идентичностей, как разрыва исторической преемственности и, следовательно, распада осей социально-политического взаимодействия. В этом контексте наиболее значимые документальные свидетельства будут диверсифицированы в материалах губернских революционных трибуналов, органов политического и партийного управления¹.

Оценивая стартовый потенциал формирования новой революционной идентичности населения российских регионов, следует учесть доминанты социального развития и архаизацию политического управления. Как отмечает Ш. Фицпатрик, «сельская Россия по большей части сбросила ярмо власти, исходящей из городов» [Фицпатрик, 2018. С. 130]. Но в то же время община с ее сельской солидарностью рассматривалась большевиками как отмирающий институт, разваленный царским государством, что в условиях стихийного революционного террора обрекло крестьянство на жизнь в катастрофе [Фицпатрик, 2018. С. 145, 155]. Дополнительными факторами экстремализации сельской повседневности становятся мятеж чехословацкого корпуса, в одночасье превративший Пензенскую губернию в периферийный рубеж военного противостояния, и специфика социально-экономического развития региона. Несмотря на, казалось бы, территориальную удаленность от политического центра и крайнюю неразвитость в индустриальном и классовом отношении, эшелонный характер вооруженного конфликта вызвал необходимость применения экстраординарных мер по подавлению сопротивления большевистской власти в российской глубинке. В середине июля 1918 г. при Совнаркомом была создана специальная Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте. В конце июля в Пензу прибыл и приступил к работе комиссар по борьбе с контрреволюцией Пензенского района Восточного фронта Г.И. Бруно [Булкин, 2008. С. 38].

Превентивной мерой, узаконившей насилие как способ легитимации новой власти, в постановлениях местных властей о красном терроре стали массовые расстрелы «контрреволюционеров» в сентябре 1918 г.: уездным ЧК вменялось в обязанность выявлять и уничтожить врагов государства. По данным А.В. Булкина, в каждом уезде Пензенской губернии было расстреляно от 20 до 40 представителей

«бывших» классов и чинов полиции, заложников и уголовных преступников [Булкин, 2008. С. 79].

Кроме того, в условиях распада всероссийского рынка и резкого сокращения поставок продовольствия в пролетарские центры Среднее Поволжье оказалось практически единственной житницей, подконтрольной большевикам. Отметим также особую прочность института общины как специфической формы организационной культуры, задававшей специфику социокультурного развития региона на протяжении XVIII – начала XX в. Господство общинного архетипа в годы первой и второй русских революций обеспечивало Среднему Поволжью лидирующие позиции в крестьянском движении. Другими словами, на этот регион приходился эпицентр социального сопротивления, здесь разворачивалась драма русского бунта.

В силу указанных обстоятельств революционное насилие властей обернется тектоническим по значению фактором травмирующего порядка, породившим столь же уродливые формы адаптации к экстремальной повседневности. Это проявится в деформации функционала общины: экстремализация функции социальной защиты выльется в разрушительные и самоубийственные формы социальной агрессии по отношению к продотрядовцам, представителям чрезвычайных карательных структур, партийным работникам. Тиражирование подобных поведенческих стратегий в начале 1920-х гг. (самосуд над агентами совласти, восстания, бегство от продовольственной диктатуры и мобилизационных кампаний) самым губительным образом отразится на процессах политической интеграции, заблокирует и формирование локальной идентичности, приведет к тотальному разрыву социальных связей. Так, один из первых продовольственных отрядов прибыл в Пензу 27 июня 1918 г. Уже через месяц в распоряжение Наркомпрода было отправлено 174 вагона зерна. К ноябрю 1918 г. на территории губернии действовало несколько продотрядов из Петрограда, Москвы и других городов общей численностью около 3 тыс. человек [Булкин, 2008. С. 37–38].

Очевидна также привязка массовых вспышек социальной агрессии к марту 1919 г., когда многократно усиливается значение фактора, травмирующего сельскую повседневность: на начало весны пришла основная тяжесть выполнения продовольственной разверстки. В 1920 г., по данным И.А. Чуканова, в Средневолжских губерниях (Самарской,

¹ Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. Р-473 Пензенский революционный трибунал.

Симбирской, Пензенской, Казанской) была введена коллективная ответственность за выполнение продразверстки, когда за невыполнение плановых заданий устанавливалась «голодная норма» для всех крестьян провинившейся деревни, села или волости. Это означало тотальное изъятие всех продуктов без учета состава семей и других условий. Массовый характер принимает внесудебное преследование крестьян за неподчинение советской власти – аресты и заключение в концентрационные лагеря [Чуканов, 2010. С. 431].

Отстаивая свое право на насилие, новая власть стремительно расширяла карательные функции, включая следствие, арест, заключение в тюрьму или концлагерь, конфискацию имущества, наделение подобными полномочиями органы милиции, чрезвычайные комиссии различного толка, народные, партийный, продовольственные суды [Павлов, 2018. С. 93–94]. Жестокость приговоров носила беспрецедентный в российской истории характер. Так, по данным Д.Б. Павлова, в 1920 г. реввоентрибуналы вынесли решение о применении высшей меры революционной защиты свыше 6,5 тысяч раз, в то время как в 1905–1913 гг. по приговорам всех судов Российской империи смертной казни в среднем за год подвергалось 763 человека [Павлов, 2018. С. 95]. По данным В.В. Кондрашина, массовые расстрелы оказались самым действенным средством в борьбе с повстанцами в период «чапанного восстания» в Симбирской губернии. Так, гибель 16 красноармейцев в столкновении карательного отряда с крестьянами в с. Усинское обернулась расстрельным приговором в отношении 125 участников восстания и сожжением всего села [Кондрашин, 2009. С. 136].

Ситуация Гражданской войны, а вернее деструкции, распада политической и гражданской идентичностей, порождала и тенденцию иного рода: стремление к обретению своего места в новом пространстве власти-подчинения и самоидентификации. Как отмечает О.М. Морозова, в ситуации социального самоистязания в массовом сознании происходят два процесса: слом всех внутренних барьеров, стремление к социальной однородности и одновременно провоцирование политического раскола социокультурными инструментами через маркировку с использованием определенных смысловых шаблонов («буржуй», «большевик», «кулак») [Морозова, 2012. С. 504].

В этом отношении организующая сила крестьянской общины проявится в воспроизводстве архаичного ритуала, выстраданного вековой традицией для регуляции предельного состояния социального напряжения. При этом стимулы социальной агрессии могут получить аутентичное прочтение только в координатах корпоративной этики. Так, поводом к «контрреволюционному» восстанию 22–25 февраля 1920 г. в селах Б. Ижмора, М. Ижмора, Ушинка, Олышанка и Ключи Керенского уезда Пензенской губернии становится назначение наряда на возку дров и прибытие отряда для поиска дезертиров в последний день масляничной недели. Как следует из материалов следственного дела, «22 февраля был день масляной недели и по обычаю боляшинство крестьян проводит его в пьянстве и в катаньях на лошадях»¹. Принудительное изъятие лошадей и подвод, совпавшее по времени с религиозным праздником, вызвало всплеск массового недовольства большеижморских крестьян. Село было объявлено на осадном положении, прибывшие красноармейцы арестовали 15–20 «говорун», заподозренных в агитации, что и спровоцировало дальнейшую эскалацию конфликта с числом участников свыше 5 тыс. человек. Отметим здесь, что сигналом к началу выступления стал призыв одного из лидеров восставших, П. Матвеева, первым бросившегося на красноармейцев: «С нами Бог!»².

Ключевыми индикаторами крестьянского бунта стали: набатный звон, запущавший процесс социальной консолидации в случаях смертельной угрозы; принятие решения о сопротивлении на сельском сходе, что обеспечивало тотальный охват населения и распределение ответственности за применение насилия (созыв сельского схода по звуку набата был отмечен и в соседних селах, например в с. Ушинке); вооружение восставших (топоры, вилы, колья); поголовное участие в погромах («Участие в разгроме Райпродкома принимали все – как женщины, так и дети»); коллективный «самосуд»: жестокость расправы над врагами общины, глумление над трупами жертв (убиты пять представителей власти, в том числе женщина, «красный офицер»; удары наносились топорами и кольями; трупы были раздеты донага, обезображены: отделена голова, отрезаны носы, уши, грудь)³. Средний

¹ ТАПО. Ф. Р-473. Д. 43. Л. 552.

² Там же. Д. 43 б. Л. 1591.

³ Там же. Д. 43, 43 б.

возраст активных участников восстания, согласно материалам дела, составил 41,6 лет, крестьянам, замеченным в издевательстве над телами жертв, было 30 и 45 лет¹. Тем самым на начальном этапе сопротивления основную роль сыграют носители «общинного архетипа», защитники традиций, «старики», их действия были оформлены в виде самосуда над насильниками, затем после наказания «сил зла» и врагов общины наступило время уничтожения внешних признаков «злого начала», т.е. погрома райпродкома, со всеми сопровождавшими погромные действия крестьянства атрибутами ритуальной стороны бунта.

Истязания пленных и глумление над трупами поверженных «врагов» в контексте экстремальной повседневности интерпретируются через ритуализацию насилия и убийства: массовое сознание тем самым апеллирует к архаическим практикам минимализации ответственности и необходимости регулирования сверхсильных эмоциональных состояний. На материалах Олонецкой губернии периода Гражданской войны это детально рассмотрела О.М. Морозова. По ее словам, при описаниях истязаний пленных явно прослеживается этнокультурный след, ведущий к образам карельского эпоса «Калева-ла» и фиксирующий элементы ритуала наказания «сил зла» [Морозова, 2012. С. 498–499].

С другой стороны, в период Гражданской войны институт общины становится якорем спасения, позволившим не скатиться в плоскость тотальной дезинтеграции, войны всех против всех, организуемым началом исключительного свойства, в рамках которого сохранялись ростки социально-политической интеграции. Это отражает, скажем, общинный принцип раскладки государственных повинностей, когда разверстка распределялась не по классовому принципу, а поровну на всех, а на гужевые работы управляли хозяйства в порядке очередности, демонстративно игнорируя существовавшие преференции для семей красноармейцев [Кондрашин, 2009. С. 299]. Впрочем, община оставалась открытой для диалога с государством, и даже в моменты всплесков социальной агрессии требования крестьян укладывались в императив «главное – выжить», предполагавший подчинение властям в обмен на защиту и социальное обеспечение. Так, по словам свидетеля,

проходившего по делу о восстании крестьян с. Большая Ижмора, П.К. Молчанова, председателя волостного совета Большеимжорской волости: «Выкриков против Советской власти не было, как то долой, возвращайте из фронта наших сыновей, но все были недовольны ввиду неудовлетворения их одеждой и кормом для лошадей, причем большинство крестьян действительно корму не было, причем [меня] удивило то, что среди нападающих на нас крестьян большинство было бедноты, а кулачья совсем не было видно»¹. Фактическое признание значения общины как исключительной организующей силы в пространстве сельского мира читается и в широко распространенной практике карательных отрядов подкреплять террор проведением сельских сходов и принятием «покаянных резолюций» [Кондрашин, 2009. С. 138].

Травмирующей, но ставшей уже обыденной практикой адаптации к экстремальным условиям бытия становится бандитизм. Интересные рассуждения о повседневности девиаций можно встретить в докладе военного комиссара одного из полков 26-й дивизии войск ВНУС от 19 февраля 1921 г.: «Бандитизм есть последствия шестилетней беспрерывной войны...»; «...крестьяне находятся в своих хижинах, чувствуя антоновцам, сидят спокойно у себя на печках до тех пор пока не пришла банда, а как только появилась банда смельчаков из соседних деревень в 30–40 всадников, тут же через 5–6 часов образовывается внушительная банда в 100–200 человек; их налеты и грабежи среди мирного населения бываю в большинстве случаев удачными; их зверские грабежи терроризируют в населенных пунктах одних и захватывают других. Быстро появляются и также быстро исчезают, благодаря тому, что они у себя дома превращаются из вооруженных в мирных обывателей – работников. Вот в чем заключается сила банд»².

Регулярность, массовость и доступность подобных трансформаций вела к институционализации нормативных нарушений, нивелировала негативно окрашенную социальную оценку девиации. Так, в ноябре–декабре 1922 г. выездная сессия Пензенского губернского революционного трибунала рассмотрела дело по обвинению 53 человек, жителей сел Старого и Нового Шуструя Старо-Толковской волости Нижне-

¹ ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 3. Д. 43а. Л. 561 об.

² Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 13. Д. 869. Л. 10.

¹ ГАПО. Ф. Р-473. Д. 43 б. Л. 1542–1543 об.

ломовского уезда Пензенской губернии, в бандитизме, пособничестве бандам и укрывательстве банд в течение 1921 и зимы 1922 гг.¹ Острога ситуации проявилась в создании добровольческих отрядов по борьбе с бандитами из граждан вышеупомянутых сел. Протоколы допросов зафиксировали бесхитростные свидетельства рядовых обывателей о переходе девиации в норму, о ставших естественными и привычными экстремальных практиках поведения: «убитый при побеге из тюремной больницы муж»; «по возвращении меня из Нижнеломовской уездной тюрьмы» (Д.П. Кубасова о сокрытии краденного); «были бандиты перед Михайловым днем пять человек вооруженные, дали моему мужу Дмитрию одну рубаху и брюки голубые» (П.И. Котельникова); «я ездил в Котельский кооператив с бандитами для грабежа» (М.Н. Рязанцев); «Вдруг приезжает отряд с моим сыном Василием и произвели у меня обыск... Вдруг сделали бандиты выстрел. В это время шла моя дочь Арина и увидела, ее стали бить прикладами; было их четыре человека; двора через два от нас бандиты убили двоих красноармейцев, когда ударили в колокол, бандиты убежали» (С.И. Котельников)².

В 1921 г. ослабленное истощенное поволжское крестьянство столкнулось с новым смертельным вызовом – неурожаем и голодом, поразившими значительную часть региона. Так, в Городищенском уезде Пензенской губернии число трудовых хозяйств уже к осени 1922 г. сократилось более чем на 1 200 хозяйств, численность рабочего скота – на 9 тыс. голов. За период с 1 января по 1 июня 1922 г. на территории уезда было зарегистрировано 4 729 случаев голодной смерти [Отчет, 1922. С. IV]. Зимой 1921/1922 гг. острейший продовольственный кризис приобрел исключительное значение как стимул, провоцировавший голодную панику – массовые стихийные перемещения населения.

Признаком надвигающейся катастрофы становится скопление голодобеженцев на железнодорожных станциях. Так, осенью 1921 г. беженцы, прибывающие в Пензу из голодающего Поволжья, размещались непосредственно в казармах-бараках около Московско-Казанского вокзала³. Приливная волна голодных миграций захлестнула

Пензу, Рузаевку и другие станции в феврале 1922 г. и вынудила власти к введению еще одной обременительной повинности – обязательного попечения над голодающими путем распределения их среди населения благополучных уездов для прокормления (из расчета 1 человек на 10 семей). Дополнительным денежным налогом были обложены предприниматели, приезжающие на базар крестьяне, и даже извозчики, владельцы лошадей, скота и велосипедов. К весне 1922 г. в регионе на обеспечении государства находилось до 3 500 детей, пострадавших от голода, в том числе свыше 140 были размещены в бараках близ Московско-Казанского вокзала в Пензе. В апреле число нуждающихся детей, оставшихся без попечения родителей, возросло до 6 тыс. человек. Администрация Пензенского и Рузаевского железнодорожных узлов сообщила о стихийном наплыве голодобеженцев, прибывающих из Поволжья и уездов губернии, о перегруженности территории вокзалов, о высоком уровне санитарной и эпидемиологической неустойчивости. Отдельным направлением деятельности Губкомпомгола становится отправка беженцев в хлеботорговые районы. Так, 6 апреля комиссия рассматривала вопрос о срочной отправке эшелона в 1 700 человек¹. В Пензенской губернии наиболее пострадали от голода Саранский, Городищенский, Наровчатский, Краснослободский и Керенский уезды, хотя официально к числу голодающих были отнесены только два первых. Особая ситуация сложилась в Саранске, выступившем своеобразными воротами для беженцев из Поволжья. К концу апреля 1922 г. здесь насчитывалось до 600 беженцев и 14 500 детей².

Обращения с мест об оказании помощи населению переадресовывали в уездные комиссии. Скажем, в мае 1922 г. Губкомпомгол отказал в запросе на предоставление дополнительной продовольственной помощи представителю Покровской волости Наровчатского уезда (обращались с просьбой об открытии столовой) по причине недостатка средств: на содержании губернской комиссии к этому времени находилось свыше 2 тыс. детей и 1 тыс. взрослых³. Несмотря на помощь со стороны государства и зарубежных благотворительных организаций, в Городищенском уезде случаи голодной смерти фикси-

¹ ГАПО. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 1011. Л. 254–259.

² Там же. Л. 1–20.

³ ГАПО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.

¹ ГАПО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 3. Л. 12–12 об., 17, 24.

² Там же. Л. 29.

³ Там же. Л. 28.

ровались и в июне – 167 человек, в июле – 480, в августе 1922 г. – 82 человека [Отчет, 1922. С. XVII].

В своей совокупности указанные факторы и предопределили появление соответствующих характеристик социального поведения. В оборотах деятельности местных партийных организаций за этот период появилось даже определенное клише, собирательный образ предельно оскудевшей обескровленной деревни, почти утратившей волю к жизни: «в уездах развит бандитизм»¹ и «время сплошного голода с массовыми явлениями трупоедства»¹. То было время, когда проявлением социальной функции общины становится демонстративная легитимация каннибализма, когда на сельских сходках обсуждалась такая форма ответственности за голод, как убийство и употребление в пищу председателя сельского совета и советских активистов, а среди экстремальных стратегий выживания встречаем «артельный отлов жертв» [Аксенов, 2018. С. 542].

И все же именно изживание последствий голодовки послужило отправной точкой восстановления оси социально-политической интеграции, упорядочило каналы коммуникации, заложило пути примирения и отказа от насилия как экстремального регулятора культуры повседневности.

Литература

- Аксенов В.Б. Массовые настроения эпохи Гражданской войны: историографические традиции и перспективы изучения // Россия в годы Гражданской войны, 1917–1922 гг.: очерки истории и историографии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 485–543.
- Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 1997. 376 с.
- Булкин А.В. Органы государственной безопасности Пензенской губернии (1918–1928). Пенза: б/и, 2008. 230 с.
- Кондрашин В.В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2009. 575 с.

¹ Общая характеристика работы Самарской губернской организации РКП(б) за 1922 г. // ВГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 349. Л. 3, 53.

Куцова И.В., Филиппова Т.А. Гражданская война в «культурном измерении»: история осмысления // Россия в годы Гражданской войны, 1917–1922 гг.: очерки истории и историографии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 544–585.

Морозова О.М. Антропология гражданской войны. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. 560 с.

Отчет о деятельности пензенского губернского исполнительного комитета 9-го созыва. Январь – сентябрь 1922 г. X съезду Советов рабочих и красноармейских депутатов. Пенза: Типолиитография Губсовнархоза № 3, 1922. 220 с.

Павлов Д.Б. Советская судебная система 1917–1922 гг. // Россия в годы Гражданской войны, 1917–1922 гг.: очерки истории и историографии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 89–150.

Семенов А.А. Повседневная жизнь населения России в годы Гражданской войны (1917–1921 гг.): дис. ... д-ра ист. наук. Краснодар, 2005. 564 с.

Фицпатрик Ш. Русская революция / пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. 320 с.

Чужанов И.А. Гражданская война и голод в Поволжье // Падение империи, революция и Гражданская война в России. М.: Социально-политическая мысль, 2010. С. 426–439.

Figes O. Peasant Russia, civil war: the Volga countryside in Revolution 1917–1921. New York: Oxford University Press, 1989. 401 p.

Fitzpatrick Sh. New Perspectives on the Civil War // Party, Society in the Russian Civil War: explorations in social history. Bloomington: Indiana University Press, 1989. P. 5–23.

Shanin T. The Awkward class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russia 1910–1925. Oxford: Clarendon Press, 1972. 253 p.